

Антуан БАРНАВ, Гракх БАБЕФ:
ДВА ВЗГЛЯДА НА ФРАНЦУЗСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
Г. С. Черткова

От Просвещения к Революции:
Из истории общественной мысли нового времени.
М., 1990. С. 112-125.

Веб-публикация: Eleonore и редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения ©

Представление о Великой французской революции, «образ революции» - тема чрезвычайно многоплановая и многосторонняя: у современников и потомков, у французов и представителей множества других народов, у людей разных политических и религиозных убеждений были свои «образы» этого грандиозного события, прямо или косвенно воздействовавшие друг на друга. Но может быть одним из наиболее интересных аспектов этой огромной темы является образ революции, существовавший у ее непосредственных участников.

Разумеется, цельная и в большей или меньшей степени завершенная картина происшедшего может в полной мере сложиться лишь у тех участников выдающегося исторического события, которые на какой-то срок его пережили и потому способны рассматривать и оценивать с некоторого расстояния. В такой образ безусловно входят и представления о результатах революции - как его неотъемлемая составная часть. Но и те участники революции, которым не довелось ее пережить, тоже имели в своем воображении какую-то картину происходящего - конечно, незавершенную, не отстоявшуюся и неизбежно мозаичную, но в чем-то более живую и непосредственную, полностью свободную от воздействия последующего исторического опыта, а потому по-своему очень любопытную.

С этой точки зрения мне показалось интересным сравнить двух деятелей французской революции, во многом полярных по отношению друг к другу¹ - Антуана Барнава и Гракха Бабефа. Один из них занимал в революции умеренные позиции, другой - крайне радикальные; деятельность одного связана практически лишь с довольно ранним этапом революции, пик деятельности другого пришелся на период, когда революция клонилась к закату.

Поскольку оба они достаточно хорошо известны, в рамках этого небольшого сообщения ограничусь тем, что для начала очень коротко напомним лишь самое основное в их суждениях о французской революции, чтобы иметь затем возможность эти суждения сопоставить.

По мнению Барнава, революцию нельзя считать чисто французским явлением - она результат общеевропейского процесса. Он состоит в том, что с тех пор, как человечество перешло от собирательства и охоты к скотоводству, а затем и земледелию, все большее, а впоследствии и определяющее влияние на распределение власти в обществе стала оказывать собственность. В конечном счете именно формы собственности и определяют формы правления. Когда в обществе господствует земельная собственность, власть находится в руках владельцев земли, т.е. аристократии. С развитием ремесел, промышленности и торговли возникает «движимое (или промышленное) богатство» и новый класс его владельцев, приобретающих все больший вес в обществе (по терминологии Барнава, «народ»). В руки этих новых владельцев переходит и часть земельной собственности. Создается ситуация, когда большая часть собственности сосредоточилась в одних руках, а власти - в других. Такое положение не соответствует природе вещей и потому непременно завершается переворотом, передающим власть в руки «народа», т.е. обладатели «промышленного богатства».

Для Бабефа французская революция также не чисто французское явление и также результат процесса, имеющего долгие корни в истории. Однако понимает он этот процесс совершенно иначе. Вслед за Руссо, Бабеф считает, что из счастливого естественного состояния полного равенства люди вышли в тот роковой день, когда кому-то из них пришло в голову, огородив участок земли, сказать: «это мое!», а остальные, по неведению и беспечности, ему не воспротивились. Возникновение частной собственности привело к появлению неравенства, а оно породило потребность в общественном договоре. Такой договор мог быть заключен только с целью гарантировать достаточное удовлетворение потребностей всем членам общества, защитить слабого от злоупотреблений сильного. Однако этот первоначальный договор был грубо нарушен богатыми эгоистами. Силой и хитростью они завладели большей частью собственности и сумели установить законы и учреждения, освящающие эту узурпацию. Они к тому же монополизировали источники образования, чтобы народ никогда не узнал о подлинных причинах своих бедствий. С тех пор вся история человечества - непрерывная война между имущими и неимущими, угнетателями и угнетенными. Естественно, что эта война порождает взрывы. «Что такое вообще революция? Что такое, в частности, Французская революция? Это - открытая война между патрициями и плебеями, между богатыми и бедными».²

Такова, в самой краткой и поневоле сильно упрощенной и урезанной форме (особенно в случае с Барнавом, оставившим, в отличие от Бабефа, специальный - пусть незавершенный - трактат на эту тему)³, суть и сердцевина этих двух концепций. Здесь нет возможности разбирать очень интересный вопрос о том, в какой мере они сложились к началу революции, что революция в них привнесла и как она повлияла на их содержание, характер и окраску. Невозможно в рамках столь краткого текста и подробное сравнение этих двух концепций. Поэтому ограничусь здесь тем, что проведу такое сравнение лишь по нескольким пунктам, показавшимся мне наиболее любопытными.

Прежде всего бросается в глаза, что в их представлениях о причинах революции ключевое место занимает собственность. Однако отношение к институту собственности у них диаметрально противоположное. Барнав считает собственность лежащей в самой «природе вещей», а ее эволюцию - определяющим фактором общественного прогресса. Бабеф же склонен видеть в ее возникновении роковое заблуждение и первопричину всех несчастий человечества, а ее расширение и видоизменение считать прискорбный результат нарушения первоначального договора. Идея эволюции форм собственности ему по существу чужда - он понимает ее скорее количественно, чем качественно⁴, и не признает ее важности. В принципе собственность для него во все времена равна себе и она - зло.

Самый факт, что причины революции оба они искали в глубинах истории, говорит о том, что она была для них в высшей степени закономерным явлением. Но понимали они эту закономерность по-разному. Для Барнава революция - порождение естественного хода вещей, она им подготовлена, она могла и должна была произойти только тогда, когда изменившиеся формы производства и собственности потребовали новой организации и распределения политической власти. Закономерность революции не означает ее абсолютной неизбежности. Неизбежен лишь сам переворот в распределении власти - он предопределяется глубинными, основными законами исторического процесса. Но он может произойти как в виде взрыва, так медленно и почти нечувствительно. Это предопределяется уже не основными законами исторического развития, а факторами важными, но по существу - «второго порядка» (такими, как местные традиции, внешнеполитические события, характер человеческой деятельности и т.п.), которые в разных местах различны. То, что во Франции такой переворот произошел в форме взрыва, не случайность, но связано с рядом особенностей французской истории, которые Барнав и анализирует.

Для Бабефа закономерность революции - в неизбежности и оправданности борьбы угнетенных против угнетения, голодных - за кусок хлеба, огромной массы неимущих, лишенных самого необходимого - с кучкой алчных эгоистов, утопающих в излишествах. То, что такая борьба принимает насильственные формы и имеет характер взрыва - неизбежное следствие слепого своекорыстия жадных богачей: никогда они не уступят без боя своих колоссальных привилегий. Но если для Барнава революция могла произойти только в тот исторический период, когда она и произошла, то для Бабефа дело обстоит несколько иначе. Взрыв справедливого гнева угнетенных против угнетателей мог произойти (и происходил) в любую эпоху. Правда, по ряду параметров Бабеф выделял французскую революцию из ряда всех предыдущих революций и восстаний. Несомненно, он не считал случайный и то, что она произошла именно в данную эпоху, связывая это главным образом с двумя факторами: неслыханно возросшим угнетением (собственники лишают значительную часть неимущих самой возможности трудиться, попирая тем самым естественнейшее из прав - право на жизнь) и резким увеличением степени просвещенности народа. И все же по сути он не видел принципиальной, сущностной разницы между тем, чего добивались «подлинные революционеры», к примеру, в древнем Риме, и тем, чего добивались «подлинные революционеры» во Франции XVIII в.

Здесь особенно рельефно выступает разница между историзмом Барнава и историзмом Бабефа. В исторической литературе, в частности, советской⁵, справедливо отмечалось, что историзм является квинтэссенцией самого метода Барнава, неотделим от его способа мышления. При этом сам характер историзма заметно выделяет Барнава из круга современников. Барнав неизменно стремится опираться лишь на данные, твердо установленные тогдашней наукой. Только на их основе считает он возможным делать широкие обобщения, которых отнюдь не избегает; но он убежденный противник отвлеченных и чисто умозрительных построений. (Не случайно он выступал с критикой теории «общественного договора»). Он всегда имеет дело лишь с фактами, с тем, что бесспорно было, а не могло или должно бы было быть. Неудивительно, что исследователи сближают его и с либеральными историками XIX в., и с историками-позитивистами.

Совсем другой характер носит историзм Бабефа. Это как раз историзм, очень типичный для многих его современников (и унаследованный от некоторых деятелей Просвещения). Это историзм априорный, морализирующий и иллюстративный. Справедливость требует добавить, что при всей его поверхностности, такой историзм иногда не препятствует (а порой и прямо способствует) глубоким догадкам и даже подлинным озарениям.

С представлениями Барнава и Бабефа о причинах революции тесно связаны и их представления о ее движущих силах и задачах.

На вопрос, кто совершил революцию, оба ответили бы одинаково: народ. Но в это понятие они вкладывали разный смысл. О том, какие слои общества понимал под народом Барнав, выше уже говорилось. Есть у него и несколько иные формулировки, но суть их та же. К примеру, в «Политических рассуждениях» встречается такая схема: в обществе есть высший, средний и низший классы; революцию делает средний, чтобы взять власть у высшего; роль низшего - идти за средним (последняя идея возникла и зазвучала у него практически только в результате опыта революции).

Для Бабефа народ - это всегда в первую очередь бедные труженики. Именно они делают все главное в революции, им должны принадлежать и ее плоды. Поначалу, в пору «единства III сословия», эта тема звучит у него несколько приглушенно, но по мере развития революции все больше выходит на первый план, причем формулировки обостряются. Народ - это 24 млн. трудящихся, которым противостоит 1 млн. богачей, трутней, раззолоченных пиявок. Только бедные приносят жертвы во имя революции, голодают, проливают свою кровь в дни восстаний, отдают сыновей в армию. Богачи не приносят жертв (некоторые даже ухитряются наживаться на революционных трудностях) и при этом плоды революции, т.е. результаты усилий бедняков, обращают исключительно себе на пользу.

Целью революции для Барнава было установление соответствующей природе вещей формы правления, которую он называл демократией (или представительным правлением) и которую представлял как «монархию свободную и ограниченную, счастливейшее и прекраснейшее из всех правлений, существовавших когда-либо на Земле»⁵, т.е. монархию, сохранившую в своих руках значительную часть исполнительной власти, но сильно ограниченную в ее осуществлении и подконтрольную законодательной власти, которая будет принадлежать «народу».

Для Бабефа цель революции - установление «общества всеобщего счастья», которое он понимал как равенство на деле, общество без богатых и бедных. Его представление о путях к такому обществу претерпело значительные изменения в ходе революции, но здесь не место это разбирать.

Отмечу только, что с первых и до последних дней революции любое ее событие Бабеф оценивал прежде всего с точки зрения того, улучшает ли оно хоть в какой-то мере участь бедняка.

Вполне естественно, что в представлении Барнава революция практически закончена уже весной-летом 1791 г.: дав новую организацию политической власти, равенство в правах и уничтожение привилегий, гражданское устройство духовенства, революция сделала все, чего можно от нее ожидать, дальнейшее ее углубление лишь поставит под вопрос достигнутое. Для Бабефа - отвлекаясь от некоторых его полемических заявлений - и три года спустя после казни Барнава революция сделала лишь первые шаги в нужном направлении, но во многом уклонилась с правильного пути; она остро нуждается в продолжении и развитии.

Итак, перед нами две концепции исторического развития, предопределившие два способа смотреть на революцию: одна выдвигает в качестве определяющего исторического фактора эволюции форм собственности, другая - примитивно толкуемую классовую борьбу (понимаемую главным образом как война богатых и бедных и выступающую скорее как стержень, чем как движущая сила истории); автор первой считает основной задачей революции, выражаясь языком более позднего времени, приведение надстройки в соответствие с базисом⁶, а конкретно - передачу власти в руки владельцев «промышленной собственности» и установление соответствующих политических институтов, т.е. парадоксальным образом именно в силу того, что придает первостепенное значение экономическому фактору, видит революцию почти исключительно как политическую, лишь попутно решающую определенные социальные задачи: подлинный социальный переворот произошел, по его мнению, до революции и она должна легализовать его, закрепить и оформить; автор второй считает, что основной задачей революции является установление социальной справедливости, ликвидация общественного неравенства и самой возможности его возникновения - путем уничтожения его корней (прежде всего, частной собственности), т.е. в полном соответствии со своими исходными посылками видит революцию главным образом как социальную; что касается ее политических задач, то здесь его представления на протяжении революции менялись: поначалу он был склонен считать решение этих задач одним из важных этапов на пути к осуществлению подлинных, социальных целей революции, но затем пришел к твердому убеждению, что, напротив, решение этих задач окажется побочным следствием осуществления главных целей революции.

Отдельные элементы этих двух концепций встречаются у многих современников, но только у Барнава и Бабефа обе они столь ярко выражены, четко выдержаны и доведены до логического конца. При этом и Барнав, и Бабеф были людьми чрезвычайно активными, стремились к претворению своих идей в жизнь. Вероятно, есть определенная историческая логика и в том, что эта крайняя последовательность в додумывании и осуществлении своих взглядов в конечном счете привела обоих на эшафот.

Но сама логическая стройность этих столь несхожих теоретических построений невольно побуждает задаться вопросом: в какой мере адекватно отражали действительность те два образа революции, которые возникают на базе этих двух концепций (а возникнув, оказывают на эти концепции и мощное обратное влияние)? В самом деле, обе теории - и та, что в сложном комплексе факторов, определяющих ход человеческой истории, главенствующее место отдает эволюции собственности, и та, что рассматривает историю как арену вечной борьбы угнетателей и угнетенных - несомненно, глубоко укоренены в реальности. Но, отражая весьма существенные стороны реальности, оба они не видят или не придают должного, значения многим другим ее сторонам, в том числе и «реальностям» друг друга.

Сказанное не следует понимать чересчур буквально. К примеру, про Барнава нельзя сказать, что он вовсе не видел классовой борьбы - он отводил ей определенное место в своей концепции и в этих границах временами анализировал ее пронизательнее и тоньше, чем Бабеф (связывая, в частности, возникновение общественных классов с характером собственности, а не просто с фактом ее существования). Но, во-первых, классовый конфликт у него (в отличие от Бабефа) - это конфликт исключительно между собственниками, а во-вторых, он произведен, вторичен и исчезает, когда устраняется несоответствие между распределением «богатств» и распределением власти. Таким образом, Барнав был способен увидеть классовый конфликт, но не глубинный классовый антагонизм, неустранимый по существу, ибо лежащий, пользуясь его собственным выражением, в самой «природе вещей». Что касается «IV сословия», то Барнав не мог, разумеется, вовсе его не видеть, но он, так сказать, «видел его, не замечая»: оно для него - интегральная (и не самая существенная) часть III сословия; не считая, как уже отмечалось, что лица, лишенные собственности, могут составлять особый класс со своими интересами, он не признавал за этими общественными слоями (несмотря на некоторые точные наблюдения) никакой самостоятельной политической роли⁸. Сам же факт существования богатых и бедных вполне соответствовал (в кричащем противоречии с Бабефом) его представлениям о «природе вещей».

Точно так же и у Бабефа можно найти некоторые очень любопытные замечания относительно той стороны действительности, которая привлекала преимущественное внимание Барнава. Однако эти замечания всегда носят «отрицательный характер» (к примеру, ссобрание о том, что столь превозносимая конкуренция заставляет людей работать на истощение, губит их мораль и в конечном счете приводит к монополии - неординарное для того времени наблюдение⁹). Ту реальность, которую отражал Барнав, Бабеф не просто не видел, но и не хотел видеть - он отталкивался от нее.

Таким образом, при всей неоднозначности (а у Барнава в ряде случаев даже комплексности) их воззрений, в целом взгляд на революцию и у Барнава, и у Бабефа все же односторонен. Но более или менее адекватное отображение какой-то части реальности не может дать адекватного образа реальности. Не будучи фантастичным, такое отображение никогда не будет, и вполне адекватным.⁷

И здесь мы выходим еще на одну, на мой взгляд, весьма интересную проблему. Ведь фиксирование в сложных социальных связях главным образом одной какой-то стороны - как известно, характерная и очень важная (хотя далеко не единственная) черта утопического сознания. В случае с Бабефом - автором классической и общепризнанной социальной утопии - этот тезис находит себе прямое подтверждение и яркую иллюстрацию. Но может ли он иметь какое-то отношение к Барнаву? В самом деле, если позволительно говорить об «утопическом темпераменте» или утопическом складе мышления, то Бабеф - несомненный их обладатель. Сильный и в то же время пылкий ум, в высшей степени склонный к «метафизическим спекуляциям», к рассмотрению мира сквозь призму нравственных категорий, размышлениям скорее о том, каким он должен быть, нежели о том, каков он есть; мечтательность, доверчивость, способность быстро увлекаться; творческий подход к любому делу, нелюбовь к рутине, стремление преобразовать и усовершенствовать все, к чему прикасается - от правил правописания до принципов общественного устройства - все это, вместе с изложенными выше его принципиальными убеждениями и внешними обстоятельствами его жизни и деятельности, закономерно привело его к созданию социальной утопии. Барнав в этом отношении - полная противоположность Бабефу. Если существует темперамент или склад мышления, никак к утопии не предрасполагающий, то Барнав - его живое воплощение. Строгий, трезвый, дисциплинированный, несколько холодный ум, помноженный на обширную и многостороннюю эрудицию. Глубокий и всеохватывающий историзм, пронизывающий, как уже отмечалось, весь способ его мышления и с ним сливающийся, принципиальная установка на изучение мира и общества, каковы они есть, а не какими они должны бы были быть. Аналитический подход, стремление понять механизм общественных явлений. При этом - полнейший отказ от каких бы то ни было «метафизических спекуляций», твердая опора только на факты. И все-таки даже у этого «предпозитивиста» можно найти некоторые черты утопизма - и они лежат как раз; в сфере его «образа» революции. Его «слепота» к той стороне революции, которую представлял Бабеф, неспособность увидеть ее принципиальную важность, внушили ему уверенность, будто революции можно заранее указать ее пределы. Он искренне верил, что этот гигантский, обладающий огромной силой инерции (и непредсказуемыми запасами энергии) маховик можно внезапно остановить в заблаговременно определенную минуту. Эта идея, в своем роде не менее утопичная, чем попытка построить во Франции XVIII в. коммунистическое общество, уходит своими корнями, помимо односторонности его взгляда на революции, еще и в особого вида рационализм, веру в могущество Разума, способного познать законы общественного развития и тем самым побудить людей следовать этим законам. Эта черта также роднит его с Бабефом (впрочем, и с рядом других современников). Но рационализм такого рода присущ и многим утопическим системам; и хотя я не согласна с теми, кто считает его одной из главных отличительных черт утопии вообще (существуют и нерационалистические утопии), тем не менее сугубый рационализм действительно бывает порой парадоксальными узами связан с утопическим сознанием.

Пусть не поймут меня превратно. Я вовсе не собираюсь причислять Барнава к утопистам, весь склад его личности тому противоречит. Однако тот факт, что даже применительно к такому трезвому мыслителю и осторожному политику мы можем говорить об элементах утопизма в его сознании, свидетельствует о том, что утопический, компонент - в большой или в малой степени - неотъемлемая часть любого сознания. Его существование не только неизбежно, но и необходимо - без него, в частности, не только Бабеф, но и Барнав не смогли бы действовать в революции, которой, по моему глубокому убеждению, они были потребны оба.

Реальный ход события оказался не таким, какой соответствовал их представлениям. Каждый из них, примерно за год до своей гибели попал в тюрьму, не питал особых иллюзий относительно своей судьбы и оба приписывали это тому, что революция сошла с правильного пути. Естественно, подобные обстоятельства не могли не исторгнуть у того и у другого некоторых пессимистических высказываний - но в целом оба были историческими оптимистами. По их глубочайшему убеждению, будущее докажет, что их способ смотреть на историю в целом и на великое историческое событие, в котором им довелось принять участие, в частности, был правильным. Барнавовская «природа вещей» непременно пробьет себе дорогу; добродетельные просвещенные потомки непременно оценят проповедуемые Бабефом возвышенные истины, которые не оценили развращенные современники.

И эти оптимистические ожидания в значительной мере оправдались. Их идеи оказались чрезвычайно плодотворными и в претворенном виде многим из них была суждена долгая жизнь в истории. Что касается их представлений о Французской революции, то они были развиты, дополнены, сведены воедино и какими-то своими частями неизменно входили в тот обобщенный образ Французской революции, который создавался у последующих поколений.

Антуан БАРНАВ, Гракх БАБЕФ:

¹ Полярных, разумеется, лишь как деятели революционного лагеря - проблем контрреволюции мы здесь не касаемся.

² «Трибун народа» № 34 // Бабеф Г. Сочинения. Т. II. М., 1977. С. 440.

³ См.: Barnave A. Introduction a la Revolution francaise. Texte etabli sur le manuscrit original et presente par Fernand Rude. Paris, 1960.

⁴ Т.е. скорее как расширение сферы ее охвата, либо же увеличение и совершенствование способов присвоения плодов человеческого труда и изобретательности, нежели изменение самой ее природы.

⁵ См.: Попов-Ленский А.Л. Антуан Барнав и материалистическое понимание истории. (К характеристике историко-философских идей в XVIII веке). М.-Л., 1924; Кондратьева Т.С. Историко-социологические идеи Антуана Барнава. М., 1973; Она же. Концепция французской революции конца XVIII века Антуана Барнава // Проблемы новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1972.

⁶ Barnave A. Op. cit. P. 38.

⁷ В значительной степени именно по этой причине Жорес, как известно, считал, что Барнав во многом предвосхитил марксистский подход к истории Великой французской революции. Хотя такая точка зрения и не лишена определенных оснований, в полной мере с ней все же никак нельзя согласиться. Целый ряд ключевых для Маркса положений абсолютно чужды Барнаву. Быть может, красноречивее всего об этом говорит тот факт, что социальный конфликт лежит для Барнава всегда в области политики, но отнюдь не экономики; последняя, в отличие от политики, по существу является для него сферой, только объединяющей, и уж никак не разъединяющей, человеческие интересы. Иными словами, он способен увидеть отношения господства и подчинения, но не отношения эксплуататоров и эксплуатируемых. Само представление об эксплуатации полностью отсутствует у Барнава. (См. в связи с этим тонкие наблюдения канадского историка Комнинела в его книге Comninel G.C. Rethinking the French Revolution. Marxism and the Revisionist challenge. L.-N.Y., 1987. Автор говорит преимущественно о французских либеральных историках XIX века, но его рассуждения в полной мере относятся и к Барнаву). К этому следует добавить, что Барнав не видел в трудящихся, лишенных собственности, отдельный класс со своими особыми интересами. Любопытно отметить, что если Барнав не видел различия интересов внутри III сословия, то Бабеф не замечал противоречий, в среде «IV сословия». Мысль о том, что интересы, к примеру, городского и сельского бедняка могут в чем-то существенном не совпадать, были ему по сути чужды. Психологически интересный факт: любя оснащать свои сочинения «античными примерами» и постоянно ссылаясь на борьбу патрициев и плебеев в Риме, или сторонников аристократии и демократии в Древней Греции, Бабеф практически не упоминает о существовании в античном мире рабов. Имя Спартака, насколько мне известно, не встречается в его произведениях ни разу.

⁹ См.: G.Babeuf a Ch.Germain, 10 thermidore an III (28 juillet 1795)// Babeuf. Ecrits. Introduction et annotation par Claude Mazauric. Paris, 1988. P. 258-259.

¹⁰ Автор отдает себе отчет в том, что «полностью» адекватного (всеобъемлющего) отображения исторической реальности не может быть ни у современников, ни у потомков. Речь идет лишь о разумном приближении к так называемой относительной объективной истине.